

ИЗ ПЕРЕПИСКИ П. П. СЕМЕНОВА-ТЯН-ШАНСКОГО

(Публикация М. А. Семенова-Тян-Шанского и А. Ю. Заднепровской)

Эпистолярная семья Семеновых-Тян-Шанских остается до сих пор мало изученной. Значительная ее часть хранится в архиве Пушкинского Дома, в Петербургском филиале Архива РАН и в семейных собраниях. Для настоящей публикации отобрано четыре письма первой половины 1890-х гг. Первые два из них — обращенное к отцу письмо Ольги Петровны Семеновы и его ответное письмо. Если Петр Петрович Семенов-Тян-Шанский (1827—1914),¹ прославленный ученый, путешественник и государственный деятель, в особом представлении не нуждается, то о его дочери следует немного рассказать.

Ольга Петровна Семенова (1863—1906) — единственная дочь Петра Петровича, талантливая художница, этнограф-собираатель. Ее работы сохранились в собрании Русского музея и Третьяковской галереи. Детские годы Ольги Петровны протекали в чисто домашней обстановке большой культурной русской семьи (у нее было шесть братьев). Много времени она проводила в имении Гремячка в Рязанской губернии. От отца она унаследовала любовь к жизни в деревне, к природе, имея, так же как и другие члены семьи, крепкие «корни в земле». В течение десяти лет Ольга Петровна собирала материалы, легшие в основу книги «Жизнь „Ивана“». Очерки из быта крестьян одной из черноземных губерний, которая стала главным делом ее недолгой жизни. Эта неординарная книга, дающая яркую и глубокую картину жизни русской деревни накануне Первой мировой войны и революции, заслуживает особенного внимания. Жизнь среднестатистического «Ивана», от его рождения до женитьбы, обрисованная без прикрас, производит очень сильное впечатление. Материалы Ольги Петровны помогают понять корни исторических потрясений и бед, обрушившихся вскоре на русскую деревню. Преждевременная смерть от тяжелой сердечной болезни оборвала эту работу.²

¹ Почетную приставку к своей фамилии он получил по указу Сената в 1906 г.

² Книга была подготовлена к печати В. П. Шнейдер и напечатана в 1914 г. после смерти автора в Записках ИРГО: *Семенова-Тян-Шанская О. П. Жизнь «Ивана»*. Очерки из быта крестьян одной из черноземных губерний // Записки Императорского Российского географического общества по отделению этнографии. СПб., 1914. Т. 39.

Личная жизнь Ольги Петровны сложилась непросто и в итоге очень печально. Ранняя молодость ее была омрачена самоубийством влюбленного в нее юноши. Надежды на брак с полюбившим ее учителем и другом художником Н. А. Гоголинским были оборваны его неожиданной смертью. Эти трагические события и составляют предмет первых двух публикуемых писем из семейного архива. Оба они написаны осенью 1895 г. Обращенное к дочери письмо Петра Петровича полно нежности и высокого благородства и представляет собой выдающийся по значению биографический и человеческий документ.

Двумя годами раньше семья Семеновых пережила крайне тяжелую потерю — смерть младшего и любимого сына Петра Петровича четырнадцатилетнего Славы, и в обращенном к дочери письме Петр Петрович возвращается к этой еще свежей утрате. Непосредственное свидетельство трагических событий весны и лета 1893 г. — два письма Петра Петровича ближайшим друзьям семьи Семеновых сестрам В. П. и А. П. Шнейдер.³

Первые два письма любезно предоставлены для публикации Н. В. Семеновой-Тян-Шанской, правнучкой П. П. Семенова-Тян-Шанского. Письма П. П. Семенова-Тян-Шанского к сестрам Шнейдер хранятся в архиве Пушкинского Дома (ф. 340, оп. 1, № 119). При публикации орфография и пунктуация приближены к современным нормам. Квадратными скобками отмечены зачеркнутые слова в тексте, конъектуры отмечаются угловыми скобками. Подчеркивания в тексте писем выделены курсивом. В комментариях использованы отрывки из воспоминаний младшего брата Ольги Петровны Вениамина Петровича.

³ Выдержки из них ранее вошли в написанный А. А. Достоевским биографический очерк о Петре Петровиче: *Достоевский А. А. П. П. Семенов-Тян-Шанский. Биографический очерк* // П. П. Семенов-Тян-Шанский. Его жизнь и деятельность: Сб. статей по поводу столетия со дня его рождения, составленный по поручению совета РГО под редакцией А. А. Достоевского. Издание Государственного русского географического общества. Л., 1928. С. 1—140.

О. П. СЕМЕНОВА — П. П. СЕМЕНОВУ

Грем<ячка> окт<ябрь 1895>

Дорогой мой папочка, не хотелось рассказывать тебе ничего грустного, да [видно уж] поневоле приходится, — не вынести мне одной всего!

Мне все вспоминаются твои слова, — много лет тому назад сказанные, — когда Твое сердце болело за меня, когда Тебе было жаль меня, — помнишь Ты это? Ты сказал мне тогда — как Тебе больно, что на пороге моей жизни меня встретило горе... Эти слова Твои — как сейчас я слышу, — вот потому-то мне так и хотелось никогда более не говорить Тебе ничего грустного о себе. А между тем — горе, должно быть с тех пор, пошло со мной рука об руку — и теперь — столько его, так оно тяжело, что оно рушит все мои намерения молчать. Прости меня, милый, милый папочка!

Не знаю, справедливо ли оно (горе) обрушилось на меня тогда — давно. Я, без всякой задней мысли, быть может, «неразумно» — ответила привязанностью на привязанность человека, — юноши, который невольно привлек меня к себе и любовью своей ко мне, и всеми несчастьями своей короткой жизни, и, наконец, — *главное* [всем] своим духовным обликом. Моя привязанность была самая чистая, самая искренняя, но еще очень детская, и если я когда его огорчала чем-нибудь, то уж совсем, совсем невольно и совсем бессознательно. Да я и [не думаю] сомневаюсь, чтоб огорчала. И вот, за мою привязанность любимый человек поканчивает с собой. Я не виню его нисколько, — во-первых, потому, что и по смерти его продолжала, не могла его разлюбить, — [никогда], ни забыть хоть на минуту [не была в силах забыть его], а во-вторых, потому, что он сделал мне горе по грустной ошибке, желая мне только хорошего... Такая это грустная, такая тяжелая история!¹

Годы проходили после того, и я не могла ни забыть того, что было, ни привязаться к кому-нибудь другому. [Помнишь, ведь] Было и несколько случаев, когда я могла выйти замуж. [но я не могла забыть того,] Но я все вспоминала, что было у меня отнято, и все жила своими [мучительными] невеселыми думами; такая история не могла не оставить неизгладимых, тяжелых следов на мне, потому что я женщина.

[Женщина в таких случаях несколько иначе устроена, чем мужчина — все подобное оставляет в ней гораздо более неизгладимые следы.]

— В эти годы — ко мне привязался один человек. Человек этот покойный Нил Алексеевич.² И тут уж не знаю, хорошо ли я поступила — суди меня как знаешь. — Когда Н. А. с нами познакомился — он, хотя и не формально, но уже безвозвратно разошелся со своею женой. — Это тоже очень грустная история, от которой много страдал Нил Алексеевич и о которой я кое-что знала. К нынешней осени Н. А. — был бы уже формально разведен со своею женою, а зимою еще — я ему дала слово выйти за него замуж, на том [только] условии, если это не огорчит *Тебя и Ты дашь на это свое согласие*. Н. А. хотел умолить, упросить Тебя согласиться — он так верил, что своей крепкой, беззаветной любовью ко мне тронет Тебя — и все устроится... И вот как все кончилось!

Можешь ли Ты *слишком* строго судить меня за то, что я решилась выйти замуж за человека, который столько лет был мне беззаветно и горячо предан — вся жизнь которого сосредоточивалась на мне одной? Я думала и чувствовала, что буду наконец кому-нибудь опорой, что моя бесполезная жизнь станет нужна и дорога человеку, положившему в меня всю свою душу, человеку, которого я привыкла уважать и к которому в силу этого — понемногу и спокойно привязалась. И вот этот человек, этот друг, такой верный и неизменный, [на которого я так надеялась] — умирает вдали от меня, — так одиноко, среди почти чужих ему людей! Ведь если бы я даже не решилась связать свою жизнь с его жизнью — потеря такого человека — [ужасна] страшное горе! Как я это пережила — не знаю! Я удивляюсь, как еще моя голова сто раз не посела от всех этих безотрадных дум, как [сердце еще не разорвалось] я еще скриплю и существую среди такого безысходного горя и тоски! Смерти теперь мне более всего хочется, она мне представляется такой отрадной, но вопреки всем невыносимым страданиям — я не чувствую за собой права самой расправиться со своею жизнью. А раз уж жить — то нужно что-нибудь делать, и Ты посоветуй мне что-нибудь, дорогой папочка! Ради Бога. И всегда-то плохо без дела (что я часто ощущала все эти годы), а теперь тем более, только усиленной деятельностью, усиленным движением — я и могу сколько-нибудь заглушить свою нестерпимую муку и боль. В более спокойные минуты я уже понемногу думала о будущем (можешь ли Ты себе представить, *каково* окончательно распрощаться с возможностью — *своей семьи, своего очага!*) — думала, и кое-что меня в нем смущает. Я уже давно знаю про Венину судьбу,³ знаю также, что в очень близком будущем наверно поженятся и Валя и Изя⁴ — через что три новых элемента войдут в нашу семью (и только Венин, знаю, будет мне не чужд). [И вот] Впоследствии, когда надо будет устраиваться на остаток своих дней, придется иметь дело косвенно, через братьев — с этими элементами. А уж тогда и силы последние уйдут — и останется одно только желание: иметь возможность спокойно думать об одном — обо всех милых, которые ушли, — все остальное будет казаться только ужасом. — Как бы мне хотелось теперь уже — быть по возможности отделенной материально от братьев, чтобы

* Далее один абзац густо зачеркнут.

впоследствии не возникло никаких *матерьяльных* отношений с ними. Моя жизнь представляется мне и без того уже такую темною впереди, — а это еще одна черная точка, которой я ужасно боюсь. Подумай, мой милый, мой дорогой папочка, об этом. Мне кажется (может, я ошибаюсь), что братья между собою всегда распутаются, тем более, что при их мужских силах и возможности зарабатывания хлеба — даровое их достояние едва ли будет для них первостепенным вопросом их существования. А я *поневоле* должна буду основаться на даровом, и так тяжело будет принимать самой участие в его отпутьвании и отделении от братьев, да еще, пожалуй, и не от братьев, а от их жен. Возьми хоть Митю,⁵ — ведь он не «Митя» если можно так выразиться, а скорее «Женичка»! Всё это ничего бы было, если бы были силы, была бы хоть какая-нибудь кроха счастья, [но и то и другое отнято у меня], а теперь я уж никогда не хотела бы иметь денежных дел с братьями. Прости меня за мои, может быть, слишком резкие слова — прости и пожалей, пожалуйста, папочка!

Хоть одну бы крошечку получить того, что вошло бы в состав моей жизни, если б она сложилась иначе — возможность быть матерьяльно независимой. В связи с этой независимостью — у меня есть кое-какие планы, о которых [расскажу при свиданьи] мы еще потолкуем с тобой. Между прочим, может быть, съездила бы за границу для занятий живописью. А то я пропаду — с ума сойду в той обстановке, в которой настигло меня (вот уже два раза) такое беспощадное горе.* Благодаря тебе было так много и любви и ласки и счастья в этой обстановке, но теперь, в эту минуту все это так ужасно, так больно напоминает мне обо всем ушедшем, что я боюсь сойти с ума — [просто] волосы на голове иногда становятся дыбом, не знаю, как иначе рассказать, что со мною бывает.

[Еще раз прости меня и поверь мне, что, пока мы живы, никогда ничто не отдалит меня от Тебя, мой дорогой, мой милый папочка — ведь Ты один у меня теперь остался из трех, для кого я в самом деле что-нибудь составляла в своей жизни.]

Еще раз прости меня, мой дорогой, мой милый, пока мы живы, никогда ничто не отдалит меня *от Тебя*, если даже ненадолго и уеду. Ты знаешь мою любовь к Тебе — а теперь я *в самом деле* только для Тебя одного и составляю еще что-нибудь в жизни.

Пока до свидания! Веня всё знает про мое последнее горе, также и Н. М.,⁶ с которым мы очень дружны. Он знает и про первое. Так что Ты можешь говорить с Н. М. на мой счет, можешь ему показать и это письмо. Кстати, Ты ведь наверное будешь говорить с Н. М. и о Вене, так как Венино будущее теперь уже окончательно сплетено с семьей Лам<анских>, я уж<асно> рада, что Веня берет себе жену из этой семьи.

Кр<епко> цел<ую> Тебя, папочка милый.

Тв<оя> дочь

¹ Речь идет о 17-летнем *Карле Владиславовиче Кеневиче* (1867—1883), сыне профессора-филолога Владислава Феофиловича Кеневича. Кеневич рано осиротел. Он увлекался музыкой и мечтал поступить одновременно в консерваторию и в университет.

Летом 1882 и 1883 гг. он репетировал младших сыновей Петра Петровича и провел в Гремячке несколько месяцев. В мемуарах Вениамина Петровича Семенова-Тян-Шанского эта история рассказывается так:

«Кеневич и моя сестра влюбились друг в друга первой, чистой, юношеской любовью и объяснились. Он по каким-то делам должен был уехать в Петербург на несколько дней раньше всей нашей семьи. Помню, как при отъезде в чудесный день „бабьего лета“, когда паутинки длинными, тонкими, серебряными нитями при солнце опутывали все выбоины дороги и трещины сухого чернозема и носились в воздухе, он все задумчиво оборачивался из экипажа на гремячинский дом, пока экипаж не обратился в точку.

Осенью случилось несчастье. Кеневич впал в меланхолию, потому ли, что он был моложе сестры на 3 года, и ему долго оставалось ждать свадьбы — не менее 5 лет учения, считая предстоящий ему последний год гимназии, и он не хотел стеснять ее собой, или по какой-либо другой причине, но только он в ноябре неожиданно отравился фосфорными спичками. Его еще можно было спасти, но его мачеха, добродушная Мария Ивановна, испугавшись и растерявшись, дала ему по ошибке не то противоядие, и он погиб. Это крайне потрясло сестру, брата Андрея, да и всех нас. Сестра и брат замкнулись каждый в себе, и с тех пор непринужденная веселость навсегда покинула брата, а сестра постепенно приобрела привычку просиживать целые ночи в своей комнате без сна и зимой поспешно тушила свечку, когда я утром шел в гимназию мимо ее комнаты по коридору, где было верхнее окно, через которое и было видно потухание света. Кеневич умер 17-летним юношей и был похоронен на Смоленском лютеранском кладбище» (*Семенов-Тян-Шанский В. П.* То, что прошло. Главы из книги воспоминаний // Историко-краеведческий сб. «Невский Архив». СПб.: Лики России, 2006. Вып. 7. С. 35. Публ. М. А. Семенова-Тян-Шанского).

² *Нил Алексеевич Гоголинский* (1844—1895) — художник-акварелист, ученик Луджи Премацци, с начала 1880-х гг. давал уроки рисования детям Петра Петровича и летом подолгу гостил в Гремячке. Вениамин Петрович пишет о Гоголинском: «...был отличным рисовальщиком и прекрасным, молчаливым человеком. Был он высокого роста, чрезвычайно худощав и желтолиц, некрасив, с прядями волос неопределенного цвета и жиденькой, небольшой бородкой, сильно курил. У него была жена — немка, жившая в его имении Торопецкого уезда Псковской губернии, и дочь-подросток, жившая с матерью. Жена была, кажется, старше его. Она была когда-то сестрой милосердия, ухаживавшей за ним во время его серьезной болезни, и он на ней женился из признательности».

Н. А. Гоголинский неожиданно умер от разрыва сердца летом 1895 г. в имении княгини М. К. Тенишевой. Вениамин Петрович пишет:

«Во второй половине лета <1895 г.> перед самым отъездом я получил от сестры из Гремячки грустное письмо. Скончался 7-го июля наш общий учитель живописи Н. А. Гоголинский в возрасте около 50 лет. Дело было так. Гоголинский проводил первую часть лета в имении своей ученицы княгини М. К. Тенишевой в Смоленской губернии, где вместе с ней писал этюды, а на вторую половину лета он обещался приехать в Гремячку. 7 июля кн. Тенишева с гостями, и в том числе с Гоголинским, ездили в лес на пикник. Там после закуски с шампанским пошли гулять. Вдруг он куда-то исчез. Его искали до ночи и в темноте с фонарями нашли в лесу мертвым на самом месте пикника, сидящим у дерева. По-видимому, он отстал от гулявших незаметно или вовсе не пошел с ними. Врач установил, что он умер от разрыва сердца» (*Семенов-Тян-Шанский В. П.* То, что прошло. Рукопись, семейное собрание).

³ *Веня — Вениамин Петрович Семенов-Тян-Шанский* (1870—1942), в то время магистрант кафедры геологии Петербургского университета, впоследствии выдающийся географ, профессор. Вениамин Петрович несколько лет был влюблен в Веру Владимировну Ламанскую, дочь акад. В. И. Ламанского. Они обвенчались весной следующего 1896 г.

⁴ *Валя и Изя* — младшие братья Ольги Петровны Валерий и Измаил. *Валерий Петрович Семенов-Тян-Шанский* (1872—1968), в то время студент-юрист, впоследствии специалист по земельному праву, служил в Сенате, с 1920 г. в эмиграции, автор одной из первых работ о ГУЛАГе «Что такое концентрационный лагерь» («Журнал Содружества». Выборг, 1935). Валерий женился только через 3 года, в 1898 г. *Измаил Петрович Семенов-Тян-Шанский*

(1874—1942), в то время студент естественного факультета, позже метеоролог, сотрудник Геофизической обсерватории. Измаил женился в начале 1905 г.

⁵ *Митя* — *Дмитрий Петрович Семенов-Тянь-Шанский* (1852—1917) — старший брат Ольги Петровны, статистик, служил в Министерстве земледелия. В 1878 г. он женился на Евгении Михайловне Заблоцкой-Десятовской (1854—1920), двоюродной сестре своей мачехи. В 1895 г. у них было уже 7 детей. Возможно, из-за некоторой напряженности в отношениях (в частности, с Ольгой Петровной) Евгения Михайловна не приезжала в Гремячку с начала 1890-х гг.

⁶ Имеется в виду *Николай Мартынович Штрупп* (1871—1915) — одноклассник и друг Вениамина Петровича, пасынок В. И. Ламанского. В конце 1880-х—начале 1890-х гг. он был гувернером Славы Семенова и жил в доме Петра Петровича.

2

П. П. СЕМЕНОВ — О. П. СЕМЕНОВОЙ

18 окт<ября> 1895

Милая, дорогая, нежно-любимая, ненаглядная моя Оля, от всей души благодарю тебя за то, что ты решилась высказать мне все печали, скорби и сомнения твоей большой души. Какую бы скорбь ни внушало мне твое безутешное горе, для нас обоих все-таки лучше нести наш крест вдвоем. И страдать мне с тобой и за тебя отрадно и разлуку, если она необходима, я готов перенести безропотно, лишь бы ты, до конца дней моих, была бы тем, чем ты была всегда для меня: моею любящей и любимой дочерью, лучшей частью моей души.

Все то, что ты переживаешь, все то, что ты чувствуешь, все твои муки и страдания я понимаю совершенно отчетливо. Тяжелых твоих утрат возратить тебе никто не в силах. Но твои сомнения относительно того, как бы я отнесся к твоим заветным желаниям и как я отнесусь к твоим будущим планам, совершенно напрасны. Разве я когда-нибудь близкому, дорогому, милому мне существу, когда оно у меня просило хлеба, подавал камень? Черной точки, которая от меня бы зависела в твоём будущем, быть не может. Обо всем переговорить, все устроить с тобою мы можем согласно с твоими желаниями, регулируемые моей к тебе беспредельной любовью.

Советовать тебе теперь же что-либо преждевременно. Гораздо проще пока разанализировать все то, что происходило в моей душе в те периоды моей жизни, когда я испытывал сколько-нибудь подобные твоим жгучие муки. Может быть, ты, с твоим светлым умом и проницательностью, найдешь в этом анализе что-либо приложимое к твоим обстоятельствам.

Не буду говорить о своем ужасающем детстве и отрочестве и безотрадной юности. Когда-нибудь ты мне поможешь анализировать все то, что я пережил, а пока мне слишком тяжело касаться тени моей горячо любимой матери, которая не была виновата в том психическом положении, в котором она находилась, когда мы жили с нею вдвоем в деревенском одиночестве.¹

Мне было всего 24 года, когда мне удалось свить себе гнездо чистой любви и полного счастья. Но недолго оно продолжалось. По неисповедимым

судьбам, против которых борьба невозможна, той, которую я так беззаветно любил, не стало. Когда она тихо и безропотно угасала, я чувствовал, что я схожу с ума. Два раза, в полной невменяемости, я стремился покушаться на свою жизнь. Может быть и малодушно, но я жаждал смерти, а в конце концов остался жив, *один* со своим безотрадным горем.²

Каким-то чудом оправившись от тяжелой болезни, несмотря на смертный приговор лучших врачей, я направился автоматически туда, где предстояла мне какая-либо возможность утолить свое горе в умственных и физических занятиях. Никому, как мне казалось, моя жизнь не нужна (сын мой был призрен и в хороших руках),³ и я решил посвятить ее тяжелым подвигам, требовавшим отваги и самоотвержения.

Первое стремление, которое во мне созрело: это было проникнуть в глубь Азии, в заветную страну, куда не проникал ни один путешественник, быть там пионером науки, проложить и облегчить впоследствии путь туда другим отважным путешественникам. Другое стремление, возникшее почти одновременно с первым, было принять самое деятельное, самое самоотверженное участие в том великом деле освобождения крестьян, которое только одно, после несчастной Крымской кампании, доказавшей всю несостоятельность крепостной России, составляло весь узел вопроса о возрождении России и ее выхода на широкий путь *самостоятельного национального* развития.

Но для осуществления этих двух зародившихся во мне заветных стремлений нужна была непосредственная и специальная подготовка. Три года ушло на неустанный труд такой подготовки, два для осуществления первого задуманного мною подвига, два на достижение второй, заветной цели. Работал я семь лет без устали, и оказалось, что цели мои были достигнуты с невероятным успехом, что я утолил свое жгучее горе в этом море труда и что, после упорной борьбы отчаянного в нем пловца, счастливая волна бросила его на новый жизненный берег.

Убедился я, что еще на что-нибудь и кому-нибудь могу быть полезен. Залечились жгучие раны моего сердца, и так как природа не переносит пустоты, то пробудились в нем запросы его жизни, т. е. любви: «и для меня воскресли вновь и божество, и вдохновенье, и жизнь, и слезы, и любовь».⁴

Только во мне самом произошла существенная перемена. Как ни велика была в моей юности способность и сила любви, любовь эта могла двигаться только в тесных несколько эгоистических рамках своего личного счастья. Годы одиночества, страданий и борьбы с препятствиями, можно сказать, расширили эти рамки и упрочили самую способность и силу любви.

Индивидуальное проявление этой силы любви конечно несколько не уменьшилось. Я встретил чистую, как кристалл, душою, прелестную девушку, которой сразу отдал все свое сердце так бесповоротно, что и теперь, после 34-летнего нашего союза, люблю ее с такою же неукоснительною силой, как и в тот день, когда я сознал всю бесповоротность своей любви.

Но в душе моей загорелось скоро и другое пламя. Подрастали дети, и их я полюбил так же нежно и страстно, хотя конечно с другим оттенком. В любви к жене, какой бы силой и страстностью она ни отличалась, есть больше эгоизма: любовь эта требует ответа, питается взаимностью,

и, несмотря на всю свою устойчивость во всякой чистой и честной душе, она может быть совершенно разрушена, разорвана другою стороною. Любовь к детям не требует взаимности; можно отказаться от недостойных детей, но вырвать их из сердца невозможно: их скорби и печали всегда будут нашими печальями и скорбями.

Но сила любви в моей душе нашла себе и еще третье проявление, за тесными пределами своей семьи, своего очага, проявление, которое было прямым последствием всех перенесенных мною жизненных бурь и страданий. Это любовь к человечеству и к людям, понимание их страданий, стремление облегчить эти страдания везде, где только это для меня возможно.

И все это, в связи с полнотою и разнообразием моей общественной деятельности, создало вокруг меня такую атмосферу счастья, какая досталась в удел немногим и твердых основ которой сокрушить не могут никакие стихийные и уже совершенно независимые от моего внутреннего мира бедствия.

Однако же прошли годы, и эти стихийные бедствия стали посещать меня снова, что и совершенно понятно, потому что, чем шире круг любви, тем шире и круг страданий.

И в этом отношении дети, которые для родителей представляют такое счастье и отраду жизни, составляют наибольший источник страданий, а нередко и жгучего горя.

Мог ли я не скорбеть о том, что Митя⁵ не нашел ни счастья, ни даже спокойствия в своей семейной жизни. Мог ли я быть равнодушен к тому, что Андрюша⁶ при своих выдающихся способностях неожиданно по окончании своего курса обрезал себе крылья до вступления своего в жизнь и втиснул себя в рамки, из которых надолго и выйти не может. Могу ли я не тревожиться о том, что Веня,⁷ при счастливом, по-видимому, выборе сердца, проявляет большую беспомощность в деле создания себе счастливого семейного очага.

Но всего более страданий причинило мне то, что ты, моя милая, дорогая, единственная моя дочь, встретила, как я выразился, на пороге своей юной жизни такое страшное горе, в котором ты конечно с своею чистою душою была неповинна, но которое поставило всю последующую твою жизнь в ненормальные условия, и наконец теперь, когда эти условия могли сделаться нормальнее, тебя постигло новое горе — безвозвратная утрата.

А милый мой, незабвенный талантливый Слава, который едва ли не с рождения носил в себе зародыш того, что он не жилец этого мира!⁸

Как я не сошел с ума, блуждая один со своим жгучим горем в окрестностях Славянска? Как я пережил утрату моего милого сына, за которого так охотно готов был лечь в могилу, — я не знаю. Помню только, что ты явилась в то время моим ангелом-хранителем и своими любовью, умом и деликатностью помогла мне хоть немного свыкнуться с моим горем, о котором я с мамою и говорить не мог, чтобы не растревлять ее горя, по отношению к которому она была со мной в одинаковых условиях.

Чем же именно ты облегчила мое страдание? Во-первых, своею любовью, которая составляет для меня одно из условий моей жизни и которая

в то время проявилась во всей своей силе, во-вторых, некоторым здравым суждением по поводу моей безвозвратной утраты.

Навела ты меня на следующие размышления. Утрата эта была неизбежна, так как в Славе был зародыш его столь преждевременной кончины. Немного раньше, немного позже, но все-таки скоро должен был наступить момент вечной с ним разлуки, и момент этот был вне всякой от нас зависимости. Угас он без невыносимых страданий, а последнее время его жизни было так отрадно согрето нашею и всеобщею к нему любовью, нашими о нем заботами.

Но и при всем том я не мог и не могу забыть моего милого Славу. Пришлось опять топить свое горе и свою тоску по нем в занятиях, которые не дают мне времени страдать и тосковать. Никогда, после тяжелого периода, следовавшего за моею первою утратою, я не работал так усиленно, как после кончины Славы. И отрадно смотреть, что эта моя усиленная работа выходит, что это хорошо и полезно. И приятно убеждение, что у нас на Руси еще много пользы и добра может совершить каждый, без различия пола и возраста, кто только того пожелает.

Приезжай же скорей, моя милая, дорогая. Не давай слишком много простора твоим тяжким думам. Помни, что самое тяжелое горе, когда оно приходит, как злой рок, стихийно, от нас независимо, для нас неотвратимо.

Так тяжкий млат,
Дробя стекло, кует булат!⁹

В моей же беспредельной нежной к тебе любви не сомневайся, моя милая, дорогая, ненаглядная. Я страдаю с тобой и это для меня отрада.

Всею душою твой отец
П. Семенов

Надпись на конверте:

Заказное
Ее Высокопревосходительству Ольге Петровне Семеновой
Рязанской г. Ряжск, почтовая станция с. Урусово
от сенатора П. П. Семенова
СПб, Васильевский остров, 8 линия, 39

¹ ... мне слишком тяжело касаться тени моей горячо любимой матери... — Александра Петровна Семенова, урожд. Бланк (1801—1847) — мать Петра Петровича, после трагической смерти мужа психически заболела. См.: Мемуары П. П. Семенова-Тян-Шанского. Т. 1. Детство и юность (1827—1855). Издание семьи. Пг., 1917.

² Первая жена Петра Петровича Вера Александровна Семенова, урожд. Чулкова (1833—1853) умерла от скоротечной чахотки весной 1853 г. через несколько месяцев после рождения сына.

³ Старший сын Петра Петровича Дмитрий до 6 лет воспитывался в семье тетки своей покойной матери Е. М. Кареевой, а после ее смерти — в семье сестры Петра Петровича Н. П. Грот, жены акад. Грота. Имение Е. М. Кареевой Гремячка, выкупленное после ее смерти Петром Петровичем, на 50 лет превратилось в летний приют всей семьи Семеновых и ее многочисленных друзей.

⁴ Строчки из стихотворения А. С. Пушкина «К***».

⁵ Митя — Дмитрий Петрович.

⁶ Андрияша — Андрей Петрович Семенов-Тян-Шанский (1866—1942). После окончания университета он отказался от сдачи государственных экзаменов и подготовки магистерской диссертации и продолжал заниматься энтомологией самостоятельно. Несколько

лет спустя он оставил также работу в Зоологическом музее. Впоследствии — выдающийся энтомолог и зоогеограф, многолетний президент Русского энтомологического общества.

⁷ *Веня* — Вениамин Петрович.

⁸ Смерть младшего сына Ростислава, Славы (1878—1893), о которой пишет Петр Петрович, возвращает нас на два года назад — к лету 1893 г. Слава умер от туберкулеза после нескольких лет мучительной болезни, начавшейся еще в раннем детстве в результате травмы — ему на кисть руки упала крышка рояля. В начале 1890-х гг. ему ампутировали палец, но ни операция, ни длительное лечение в Германии, в Крейцнахе, не принесли облегчения. Старший брат Славы Вениамин Петрович пишет: «...в начале мая <1893 г.> я был уже свободен и отправился с сестрой в Гремячку. Дорогой в вагоне мы с ней рассуждали о том, что брат Ростислав, здоровье которого катастрофически ухудшалось, проживет очень недолго. Его на этот раз мои родители должны были везти на грязелечение в Славянск во второй половине мая, а по окончании курса вернуться с ним в Гремячку. Брат очень кротко переносил страдания, занимаясь астрономией, шахматами, музыкой и собиранием почтовых марок. К музыке у него при абсолютном слухе были прямо выдающиеся способности, с композиторским уклоном. Он, между прочим, сочинял оперу „Князь Серебряный“ на сюжет Алексея Толстого, одновременно с композитором Казаченко, бывшим на 20 лет старше его. Надо было удивляться, как он прелестно играл на рояле, не имея уже на руке, после операции, одного пальца. Предчувствия у нас с сестрой были самые тяжелые и вполне основательные, ибо у брата обнаружили признаки туберкулеза кишечника, вдобавок к костному туберкулезу, несколько затихшему в связи с этим» (*Семенов-Тянь-Шанский В. П.* То, что прошло. Рукопись, семейное собрание). *Григорий Алексеевич Казаченко* (1858—1938) — композитор и дирижер, ученик Н. А. Римского-Корсакова. Его опера «Князь Серебряный» была поставлена в Мариинском театре в 1892 г.

⁹ Строки из поэмы А. С. Пушкина «Полтава», песнь 1.

Приводимые ниже письма Петра Петровича адресованы близким друзьям Семеновых Варваре Петровне и Александре Петровне Шнейдер. Первое из них написано в Славянке, второе — через 12 дней в Гремячке.

3

П. П. СЕМЕНОВ — А. П. и В. П. ШНЕЙДЕР

Славянка¹ 2 июня 1893

Милая Варя,²

все планы наши изменились. В Крым я не поехал. В состоянии здоровья Славы я оставить его и Лизу³ и набросить на нее все заботы и тревоги не мог. Погоду послала нам судьба неизмеримо неблагоприятную. Каждый день дождь. Ванны принимать нельзя, так как переход от нашей дачи в ванны, кур-парк и обратно в такую погоду слишком рискован. Здешний медик-директор профессор Харьковского университета Костюрин,⁴ прекрасной души человек и принявший в нас самое горячее участие, говорит то же, что Раухфус:⁵ соленые ванны можно принимать везде, и дома всего лучше. В июне, июле и августе между климатическими условиями Славянки и Гремячки нет существенной, а только случайная разница. Что же касается до комфорта и обстановки, то Гремячка также имеет неоспоримые преимущества.

Итак, мы на днях переселяемся в Гремячку. Переезд же я решил ускорить потому, что довести Славу с удобствами могу только я сам, да

и мне будет отрадно хотя на неделю до отъезда в Петербург вернуться в лоно семьи.

Что я перечувствовал и передумал во все это время для того, чтобы уяснить себе что делать, знает один Бог и моя совесть. В самые тяжелые периоды жизни внутренние страдания — дело личное каждого человека, тут можно допустить переменаемость и надежд и отчаяния, но в действиях никаких колебаний допускать человек не должен: сознав ясно свой путь, он должен неуклонно идти по нему, соображаясь конечно с обстоятельствами, а не лихорадочно бросаться из стороны в сторону.

Наша поездка в Славянку, взамен Крейцнаха,⁶ принесла конечно и свою долю пользы: мне она и время все выяснила. Все, что человечески возможно, будем делать, а то, что не в нашей воле, неотразимое, неизбежное, тому приходится уступить сознательно, не обольщая себя ни к чему не ведущими, несбыточными и ухудшающими только положение предприятиями. Итак, план мой такой: вернуться в Гремячку, устроить Славу там на лето, и если развитие болезни до конца лета сколько-нибудь притихнет и состояние здоровья позволит, везти его на юг. Теперь же забросить его туда было бы бесцельно, безумно и невысказимо.

Следующее письмо буду Вам и милой Саше писать из Гремячки. Лиза сама не в силах ответить Вам на Ваше милое письмо, она достаточно исстрадалась и не в силах изложить Вам наше положение с достаточной ясностью. Само собой разумеется, что она все сидит над Славою, она его провидение и приносит ему конечно несравненно более пользы, чем я, но, с другой стороны, зная, что я яснее ее вижу положение, предоставляет мне с глубоким доверием управление кораблем, будучи уверена, что в бурях, от нас не зависящих, как и в крушении, я буду делать все человечески возможное для нашего спасения.

Кончина Якова Карловича⁷ меня глубоко поразила; живо перенесся я в положение сестры и перестрадал вместе с нею ее потерю. Едва ли она слишком долго переживет его, их связь была слишком тесная, слишком гармоническая. Но как ни поразительна его кончина своею неожиданностью, в ней много отрадного. Человек до 80 лет безболезненно, на ногах исполняет любимые обязанности и в последний день жизни, с улыбкой встретив последние об нем заботы любимой семьи, в минуту смерти жмет дружески руку верной подруге своей счастливой и прекрасной жизни — все это было для него отрадно. Я думаю, что он думал как и я о смерти: не мрачным, не траурным, а *светлым* должно быть для близких и нежно любимых воспоминание об умершем; соединять оно должно их общим чувством той *любви*, которая была его силой.

Листок дописал. Остается мне Варю и Сашу мысленно погладить по голове, благословить и остаться преданным Вам горячо старым другом.

П. Семенов

¹ Славянка — грязелечебный курорт в Харьковской губ.

² Адресаты письма — сестры *Варвара Петровна* и *Александра Петровна Шнейдер*, близкие подруги Ольги Петровны. Петр Петрович был фактически опекуном рано осиротевших девочек, которые стали любимицами всей семьи Семеновых. Петр Петрович

шутливо называл их своими «дочерьми по выбору» и «высоконареченными племянницами». Сестры Шнейдер были широко известны в свое время в культурных и художественных кругах Петербурга как светские, красивые и одаренные женщины. Они обе окончили рисовальную школу при Обществе поощрения художеств. Старшая из них — *Варвара Петровна Шнейдер* (1860—1941) — художница, искусствовед, собиратель коллекций, педагог, впоследствии была одним из организаторов и попечительницей Школы народного искусства имп. Александры Феодоровны (1911—1917). *Александра Петровна Шнейдер* (1863—1942?) — художница-акварелистка, преподаватель, мемуаристка. Ее работы дореволюционного периода имели успех на выставках не только в России, но и в Париже. После революции судьба сестер сложилась трудно и драматично. Окончили они свою в высшей степени достойную, полную трудов и тягостей жизнь в ссылке.

Лиза — Елизавета Андреевна Семенова-Тян-Шанская (1842—1915), урожд. Заблоцкая-Десятовская, 2-я жена П. П. Семенова-Тян-Шанского.

Степан Дмитриевич Костурин (1853—1898) — профессор общей патологии Харьковского университета.

Карл Андреевич Раухфус (1835—1915) — петербургский педиатр, профессор.

Крейцнах — город, водолечебный курорт в рейнской провинции Пруссии.

Яков Карлович Грот (1812—1893) — выдающийся филолог, вице-президент Академии наук, умер в Петербурге 27 мая 1893 г. Грот был женат на старшей сестре Петра Петровича Наталье Петровне (1823—1899).

4

П. П. СЕМЕНОВ — А. П. и В. П. ШНЕЙДЕР

Гремячка 15 июня 1893

Милые, дорогие Варя и Саша,

сегодня ровно неделя как мы в Гремячке, и если бы не все тяжелое пережитое нами, я уже дал бы Вам о нас весточку, а то пришлось писать к Вам только тогда, когда я наконец совладал с самим собою и пришел в себя после всего пережитого в это короткое время.

В воскресенье 6 июня мы выехали из Славянки. Откладывать нам отъезда было уже невозможно, потому что умный и добросовестный доктор, окончив полное исследование болезни Славы, сказал мне, что если мы выедем не позже как через пять дней, то он еще ручается, что мы доведем Славу благополучно, но что если мы промедлим, то он ни за что не отвечает. Мы пустились в путь со страхом и надеждою. Несмотря на [тяготы] переезда до станции железной дороги, пересадку в Лозовой при проливном дожде, суточный переезд до Тулы и трехверстный переезд со станции на другую, наконец, еще 8 часов переезда по железной дороге, мы добрались до Скопина в понедельник 7 июня в 11 час. вечера относительно благополучно. Измученную тревогами и страданиями Лизу я отправил в тот же вечер в наемном тарантасе, несмотря на дурную дорогу, в Гремячку одну предупредить наших и приготовить комнату и постель для Славы, а сам остался ночевать с ним. Ночь была тревожная. В 6 часов утра, уложив Славу в карету, я сам сел на козлы, разглядывая каждую впадинку. Ехали тихо и осторожно часов 7 или 8, и Слава перенес дорогу благополучно. Какая была отрада вернуться домой, как отлегло от сердца.

Здесь в Гремячке уже милый Слава был окружен и тем комфортом, которого не было в Славянке, и теми нежными заботами всех окружающих, которые приносили ему отраду. Погода, вместо той дурной, которая была в Славянке, сделалась чудною, свежий воздух нашего сада оживил немного ежедневно гаснущие силы нашего милого больного. Со вторника всю неделю, несмотря на свое истощение, он оставался самим собою; ему было так отрадно быть дома и с своими. Ночи на субботу и воскресенье он спал дурно, в последнюю из этих ночей он много говорил — бредил. Но и бред его был светлый и прекрасный. Утром просил, чтобы я дал ему лекарства, с радостью его принял и потом говорил: «Какой сегодня торжественный день». Ему сказали, что воскресенье и все собираются в церковь. Он ответил: «Я знаю, что воскресенье, но день кроме того торжественный, все одеваются в особую одежду, только зачем так хлопочут».

Мы уехали к обедне, а с ним осталась только Лиза. Когда мы уезжали, он не бредил, лежал тихо и спокойно, и, оставляя его, я не сомневался, что он заснет, так как не спал почти всю ночь.

После обедни служили панихиду по Якове Карловиче (20-й день) и заехали, по просьбе сестры, в Красную Слободку¹ указать, где посадить цветы. Вернулись после часа поездки, но уже за 10 минут до того нашего милого Славы не стало. Тихо, спокойно, без всякой агонии, он заснул вечным сном.

Сегодня вторник 15 июня, и мы только что вернулись из церкви, куда отнесли нашего бедного милого страдальца, под покровом лучших свежих цветов нашего сада. День был чудесный, слегка облачный, но не жаркий, прекрасный хор мальчиков нашей школы не умолкал все время нашего шествия. По усердию крестьян 6 раз останавливались и служили литию. Это были не мрачные городские похороны: это был светлый переход под небесным сводом и в лоне природы от жизни земной к жизни вечной. А в церкви также все было светло и отрадно. Все дети Муравенской волости стояли там — мальчики по одну, девочки по другую сторону. Во все эти дни я едва мог бродить по комнатам и саду, но чем далее я шел за своим милым, тем бодрее и бодрее становился, и не страшным, а дорогим и милым мне показалось в церковной ограде последнее жилище моего бедного в этой жизни страдальца, заваленное цветами.

Теперь все кончено! И только когда я вернулся домой, то почувствовал, что *его* нет со мною, что разлука вечная. Давно ли мы так отрадно, втроем душа в душу жили в Крейцнахе и ни одно облачко не омрачало наших счастливых дней и я с любовью и надеждой смотрел еще на его будущее, а он уже носил в груди своей зародыш смерти.

Но к чему эта минутная слабость. Все, что случилось, не могло быть иначе. Не суждено было ему быть вечным в земной жизни страдальцем. Только один вопрос представился мне с полной ясностью сегодня, когда я по возвращении из церкви с мучительной тоскою ходил из комнаты в комнату. Это тот самый вопрос, который милый Слава в минуту предсмертной тоски поставил окружающим его в последнюю ночь своей жизни: «Что же я теперь буду делать?». Но мне кажется, что в три

последние часа своей жизни, когда он так тихо и с небесным спокойствием встретил ее неизбежный конец, он уже разрешил этот вопрос и теперь подсказывает и мне его разрешение.

Что делать? Любить! Любить всех тех, кому нужна, дорога или полезна эта любовь: любить их на земле, заботясь и тихо облегчая их горести и страдания, любить их на небесах, благословляя любимых и ближних.

Завтра мы уезжаем отсюда. Теперь все мои помыслы направлены к тому, чтобы облегчить страдания и поправить здоровье милой Лизы. А там, может быть, еще окажусь на что-нибудь пригоден и для других.

Очень мне жаль, что мне выпало на долю сообщить Вам весть, конечно, грустную для Вас, мои милые, любящие. Но если Вы встанете на мою точку зрения, то, может быть, найдете и светлую сторону в нашем горе.

Благословляю Вас, как благословлял всех нас милый и любящий Слава.

Всею душою Вам преданный старый друг
П. Семенов

Приписка Ольги Петровны:

Дорогие, милые Саша и Варя, после всего написанного папой мне нечего прибавлять больше. — Папа и мама уезжают завтра и мы (Веня, Изя² и я) остаемся опять одни. Пишите, пожалуйста, милые, дорогие. — Мама уже и зимой прихворывала, а теперь и похудела, и устала, и всё нездорова, вид у нее очень, очень нехороший.

Больше не пишется — не взывайте, дорогие. Крепко вас целую

Ваша О. С.

¹ Красная Слободка — имение Гротов, в нескольких верстах от Гремячки.

² Веня, Изя — Вениамин и Измаил. В своих воспоминаниях Вениамин Петрович пишет: «После отъезда родителей с братом Ростиславом в Славянск из Петербурга мы стали получать в Гремячке тревожные письма от отца, где он говорил, что бедный Слава тает, как свеча, и что ничего сделать нельзя. Наконец в начале июня мы получили из Славянска телеграмму, в которой отец просил срочно выслать из Гремячки карету, но не в Ряжск, как делалось обычно, а в Скопин, от которого путь до Гремячки на 10 верст короче и до которого от Тулы, откуда они должны были сворачивать на восток, ближе, чем до Ряжска. При этом было сказано, что, не кончив лечения, они едут домой. Нам стало ясно, что роковая развязка неизбежна и приближается, быть может, не по дням, а по часам. Дня через два карета с моей матерью и лежащим на носилках больным братом Ростиславом подъехала к гремячинскому дому, причем грустный до последней степени и измученный отец сидел, как оказалось, всю дорогу на козлах рядом с кучером, чтобы дать место в карете тяжело больному и осторожным шагом объезжать всякие рытвины на дороге. Славу внесли в дом. Я его увидел на следующий день в его комнате на кровати. Это был скелет, обтянутый кожей. Он уже ничего не мог есть и умирал с голода. Меня он узнал, улыбнулся и обменялся несколькими словами. 13-го июня утром, когда кто-то из домашних отправился в Мураевню в церковь, он, слушая доносившийся издали колокольный звон, говорил: «Какие сегодня все чистые, хорошие». Затем с ним сделался бред, и он скончался, грезя о звездных мирах. Я был в это время в маленьком деревянном флигеле и видел, как в каменный флигель пробежала няня Марина Макаровна вся в слезах, с воплем: «Славушка приказал долго жить всем!». Петр Петрович тотчас же послал за 18 верст в село Мирославщину за земским врачом

Н. Д. Рудинским, чтобы тот констатировал действительную смерть, что тот по приезде и подтвердил. Тело брата Ростислава было выставлено в свободной комнате каменного флигеля, а я поехал в Мураевню выбирать место для его могилы в церковной ограде. Я его и выбрал влево от алтаря, среди молодых березок, росших на сухой известковой почве. О. Алексей Любимов говорил, что мой выбор был удачен, так как ему из алтаря хорошо видно могилу, и он невольно во время службы будет часто его поминать. На похоронах мы всю дорогу несли его гроб пешком, на полотенцах. Погода была прекрасная. Ни у кого ничего траурного из одежды не было припасено. Большая толпа крестьян и крестьянок была в белом или, по-народному, в „печальном“, у меня даже была синяя визитка с единственным, довольно пестрым галстуком. Цветов было множество. В день смерти Ростислава отец долго ходил взад и вперед по саду и по лугу перед домом без шляпы, никого не замечая, и вслух как бы беседовал с Богом. Картина была драматическая и величавая. Мать, по обыкновению, замкнулась в себе, ни с кем не говорила о покойном и с виду будто была спокойна и даже равнодушна, на самом же деле переносила свое горе очень болезненно-длительно. Елизавета Андреевна не любила показывать своего горя и тем паче слез не только посторонним, но и близким. На всяких церемониях вообще — крестинах, похоронах и свадьбах близких она избегала присутствовать, терпеть не могла афишированного траура, надев только самое скромное черное платье и чуть-чуть траура на шляпу, в церкви всегда становилась сзади всех. На панихидах и похоронах брата Ростислава она даже совсем отсутствовала, но тело его нежно покрыла своим темно-синим чудным кавказским платком, ибо синий цвет был любимым у брата Ростислава, и заботилась, чтобы было как можно больше живых цветов у его гроба, ибо цветы она обожала» (*Семенов-Тянь-Шанский В. П.* То, что произошло. Рукопись, семейное собрание).